Виктор НЕКРАСОВ

Посвящается Хемингуэю

В СТАЛИНГРАДЕ, в первом батальоне нашей полка был знаменитый связист. Фамилию его я уже не помню или, вернее, просто не знал, звали же Лёшкой это помню твердо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, выглядящей на невероятно широкого воротника пилонели, он казался совсем ребенком, хотя было ему уже восемнадцать-девятнадцать, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый, девичий цвет лица и совершенно невозможно как сохранившийся после многодневного сидения под землей, и глаза — очень живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, вы всегда могли застать его в самом углу, у аппарата, с подвешенной к голове трубкой и глазами, устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось (КП батальона находился в подвале Мясокомбината), а он, поджав под себя ноги, листал книгу, время от времени отрываясь от нее, чтоб крикнуть: «Товарищ шестнадцатый, четвертый вызывает».

Знакомство наше произошло не сразу — во время третьего или четвертого боя в Сталинграде. Мой НП был очень уж близко от переднего края, и, конечно, я не мог не обратить внимания на этого худенького, с тоненькой шеей, паренька, который, сидя в своем углу, кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество «сегментов-огурцов», то четырнадцатый сам пойдет ко второму и тогда шестому не сдобровать, а заодно и одиннадцатому. Когда он прекратил свою угрозу и попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу.

Я конечно, разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал:

— Пашет же, сосет паша... А ты да же, со взрослыми...

Я не понял:

— Ты что — о ком?

— Да о Петьке...

— Каком Петьке?

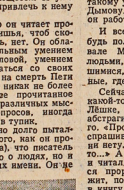
— Да с Ростове,— и скосил глаза в сторону книги.— Не читал разве? «Война и мир» Л. Л.нтого... (Он так и сказал — Эл Толстого).

Так началось наше знакомство.

Бесд, начинавшийся разговором о книгу, — сами понимаете, явление, не слишком часто встречающееся. И уже одно это должно было привлечь к нему внимание.

Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтоб скоротать время. Оказалось, нет. Он обладал каким-то удивительным умением окунаться в книгу с головой, умением моментально переключаться со своих огурцов и осечек на страсти Ростова или что-нибудь иное не более близкое и знакомое. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставящих меня в тупик.

Я, например, довольно долго пытался убедить его (после того, как он прочел «Жизнь Арсеньева» Бунина), что писатель вправе писать не только о людях, но и о лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался.



Эрнест Хемингуэй за работой

— Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему. И веришь, а ему не верить, что он не должен, ты и сам не веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант?

Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только покачивал головой и, чтобы прекратить спор в нашем споре (он вообще не любил споров, считая, очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной), стал вызывать кого-то в трубку.

Мне очень нравились в Лёше его основательность, умение не торопясь и не ставить свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда разрешались. Он любил Толстого — «Есть ты, как Куприн или Толстой,— о себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, как тот или иной писатель относится к тому или иной рассказ,—он был чуть-чуть моралистом. И даже не время и не место было для таких эмоциональных и непосредственно, переживал все, преподносимое ему книгами, читал он медленно. «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже исплакнул немного, правда, потом сказал, что ничего все посетовать на Чехова — почему он так много места уделил «попрыгунье» и так мало тому, что хорошему, такому умному, такому замечательному человеку. Кто хоть бы сказал, над чем он работал...

И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале полуразрушенного дома. Вокруг людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали.

Сейчас, спустя много лет спустя, и с какой-то особой завистью вспоминаю о Лёше, умевшем в самом аду сохранить свое духовное богатство от всего окружающего. Прочли ли вы то-то или то-то?— спрашивал он меня. «Такое там... Времени нету... Давно собираюсь, да все как-то...» А он сидел себе, подвязав ногу, читал. Прочитав, он, бывало, вскочит, прорыв — затянет страницу, побежит, почихает, вернется и опять глаза в книгу. И с тяжелой нашей, скучной, однообразной фронтовой жизни Лёша как-то для меня выделялся своим духовным, на который я всегда с радостью завстал.

НЕ ПОМНЮ точно, когда, каким числом, в декабре, мы передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Все мы повеселели — пришлось расстаться с привычными, знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лёша — он не пришлось расстаться и со своей «библиотекой». У него действительно такая — маленькая, но очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда и бегал, было это было совсем рядом и с необстрелваемой стороны. Особой системы его чтение не отличалось. Читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов (с сожалением он разделил своего кумира), Александр Беляев, «Первый удар» Шпанова, какие-то старые журналы с фронтовыми обложками — все жадны и его застал за чтением Метерлинка, которого я терпеть не могу, но очень удивился, — впрочем, он вообще не любил быс. Делал ли он различие между тем, читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, чтоб за сердце цапало. Любил про детей, про животных. Пожалуй, больше всего из прочитанного его потряс Шукшу), не любил про любовь и про войну. К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнесся к Хемингуэю, которым я тогда в свое время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее, до Сталинграда, он почти, что он сказал сосем, не читал. Грустился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил шесть классов...

Итак, нас передислоцировали, КП первого батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут-то Лёша и затосковал.

— Неужто я вас лишнее вчера почитать, товарищ лейтенант? — спросил он меня на второй или третий день после новоселья, видя у своего аппарата с трубкой переписывал наставление по стрелковому делу.

В те дни, когда у Лёшки была еще «библиотека», у меня на старом месте было тоже что-то вроде «библиотеки» — в ящике от снарядов, как бойцами из разных разваля. При передислокации большинство из них не остались в руинах нашими «сокровищами», с собой же взял только четыре книги: «Фортификация» Гушкова, «Краткий курс истории ВКП(б)» Сорокина, «Медицина всадника» с иллюстрациями Александра Пушкина и «Записки штурмовой авиации» Красной обложке ...

«Питая колонна и первые тридцать восемь рассказов». К слову сказать, эту книгу я очень люблю и уважаю.

Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. Если ты украл книгу, ты украл, ибо она остается кражей, что бы ни украл — серебряные ложки, бриллиантовое колье или книгу. Все это кража, и это преступление. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в первый же день, как только попал в ЛНШ — очень начитанный, очкастый, блинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, большой книголюб. Когда я приходил в штаб по своим делам, он — от скуки ли перво-наперво вручал мне какой-нибудь «интеллигентную» беседу о литературе, о музыке или о живописи, а потом, в одно прекрасное утро, отсчитав мне обычную сенсацию, вручил мне, как обычно, очередной кирпич, который надо было положить в основание будущего дома, и, вместо того, чтобы положить, я украдкой сунул его в карман. Кирпич был «Прощай, оружие!» Хемингуэя.

Каждая критика, неоднократно обвиняла Хемингуэя «культ смерти и насилия», но этому противоречат многие факты. Почему, писали о смерти, если всегда знаки препинания? И словно: о какой смерти идет речь и о чем говорит? Нет, конечно, писатель Хемингуэй просто смерти лучших, которую несет с собой война, полны негодования его слова против насилия, которое несет с собой фашизм.

Ладожская критика, неоднократно обвиняла Хемингуэя «культ смерти и насилия», но этому противоречат многие факты. Почему писал о смерти, если всегда знаки препинания? И словно: о какой смерти идет речь и о чем говорит? Нет, конечно, писатель Хемингуэй просто смерти лучших, которую несет с собой война, полны негодования его слова против насилия, которое несет с собой фашизм.

Писатель Хемингуэй, как и любой другой писатель, имеет право писать как можно правдивее «простую честную прозу о человеке». Писатель Хемингуэй, как никто другой, видел на свете, хотел, чтобы он за это и извлек.

Овладев многообразными видами современной ему художественной техники, Хемингуэй стремится писать просто о простом. Прямыми, короткими фразами, почти не прибегая к эпитетам и действия, дает сжатые, четкие описания обстановки. И в то же время он пишет сложно о сложном, когда ему необходимо проследить едва

«Литературная газета» выходит три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.

Адрес редакции и издательства: Москва И-51, Цветной бульвар, 30 (для телеграмм — Москва, Литгазета). Телефоны: секретариа — 200-51-55, отдел жизни — К 4-06-05, международный жизни — К 4-03-48, отделы: литературу народов — К 8-59-17, информации — К 4-08-69.

Напечатано с матриц в типографии «Радянська Україна», Киев, ул. Ирин Барбюса, д. 59.